

## *Марксизм в литературоведении: интервью с Кириллом Осповатом*

Гuido Карпи, Михаил Велижев, Кирилл Осповат

◇ eSamizdat 2025 (XVIII), pp. 331–337 ◇

**Гuido Карпи, Михаил Велижев.** Какие работы или авторы служат тебе сегодня точкой отчета в размышлениях об истории и теории литературы и почему?

**Кирилл Осповат.** Помимо Лотмана и формалистов, которые всегда сопровождают слависта, для меня принципиально важны разные изводы западного марксизма и, шире, исторического материализма. Если говорить именно о литературоведении, то главные авторы, наверное, — Фредерик Джеймисон и Реймонд Уильямс, обозначающие два разных, но одинаково продуктивных извода марксистского метода. Джеймисон — теоретик репрезентации, для которой он провокативно возобновил средневековую богословскую теорию аллегории, как будто совершенно несовместимую с марксистским разоблачительным трезвомыслием<sup>1</sup>. Джеймисон пишет о литературе как о воображаемом разрешении действительных социальных противоречий, а в героях романов узнает “национальную аллегорию”, отражающую положение определенной национальной группы на карте глобального капитализма. Теория литературы Джеймисона — это теория идеологии как надстройки, говоря на марксистском языке, то есть обособленной области образов и понятий, в которых отражаются, искажаются и тем самым репродуцируются неприглядные реалии капитализма. Реймонд Уильямс в программной книге *Марксизм и литература* расставляет акценты несколько иначе: отвергая привычное разделение на экономический базис и идеологическую надстройку как идеалистическое искажение исходного тезиса Маркса

и Энгельса, он говорит о литературе как практике, вписанной в материально осязаемые медиальные механизмы производства речи, книгоиздания и т.д.<sup>2</sup>. Этот подход опирается не столько на ортодоксальный марксизм, сколько на широко понятый формализм: Тынянова, *Марксизм и философию языка* Валентина Волошинова, *Психологию искусства* Выготского и, конечно, Вальтера Беньямина. О Беньяmine теперь говорят везде, поэтому я не буду на нем подробно останавливаться, но, конечно, без его работ, от *Рассказчика* до *Парижа — столицы XIX столетия* и *Пассажей* невозможно себе представить современную материалистическую рефлексию о культуре.

**Г.К., М.В.** Расскажи об эволюции твоих взглядов на теорию гуманитарных наук? Выбор в пользу марксизма, в контексте твоей интеллектуальной биографии, не является само собой разумеющимся.

**К.О.** Это как посмотреть. Если под марксизмом понимать знамя над крепостью, по выражению Шкловского, то от него, конечно, в пору нашего студенчества, в конце 1990–начале 2000-х годов, гуманитарная и филологическая наука шарахалась. Однако она так и не нашла — хочется сказать, слава богу, — эпистемологической альтернативы историческому материализму.

Одним из самых известных методологических высказываний в филологии той эпохи была статья Михаила Леоновича Гаспарова *Лотман и марксизм*. Она соединяла то, что было разведено постсоветским академическим вкусом, и давала такое

<sup>1</sup> F. Jameson, *Allegory and Ideology*, London 2019.

<sup>2</sup> R. Williams, *Marxism and Literature*, Oxford 1977.

определение исторического материализма: “Материализм – это была аксиома: ‘бытие определяет сознание’, в том числе и носителя культуры – поэта и читателя. Историзм – это значило, что культура есть следствие социально-экономических явлений своего времени”. Гаспаров отличал советскую догматику от марксистского метода и заключал: “Лотман относился к марксистскому методу серьезно, а к идеологии – так, как она того заслуживала”<sup>3</sup>. К историческому материализму в таком понимании относится не только Лотман, но и многие западные ученые-гуманитарии, чьи работы с жадностью переводились и читались в постсоветскую эпоху – такие как Роберт Дарнтон и Карло Гинзбург, авторы классических разборов низового протеста в Европе начала Нового времени<sup>4</sup>. Из литературоведческих работ, так и не переведенных на русский, назову еще авторов ‘нового историзма’ – Стивена Гринблатта и Кэтрин Гэллагер, специалистки по викторианскому роману и авторки работы *Картофель в материалистическом воображении*, посвященной, в частности, практикам и дискурсам британского колониализма в Ирландии<sup>5</sup>.

В этом контексте переход к широко понятой марксистской эпистемологии был для меня намного легче и естественней, чем может показаться. Даже в постсоветской школе нас учили, что на древнеегипетских барельефах разные типы персонажей разного роста, потому что там был рабовладельческий строй, – и никуда от этого не деться, если всерьез думать о том, что культура делает в истории. Именно марксисту Джеймисону принадлежит известный лозунг “всегда историзируйте”, который намного ближе современным российским позитивистам, чем некоторым изводам западной либеральной филологии – хотя, конечно, поня-

тие истории у Джеймисона не позитивистское. Он этим словом называет не выхваченный исследовательским взглядом набор эмпирических фактов, а глобальный исторический процесс развития капитализма. В переходе от гуманитарного историзма 1990–2000-х годов к марксизму самое сложное – не смена флага или эпатаж, хотя и эти жесты могут быть полезны в борьбе с собственной зашоренностью, но необходимость всерьез задумываться о материалистической, экономической теории исторического процесса, то есть выходить далеко за пределы своей дисциплинарной подготовки. В этом смысле я не осмелился бы назвать себя полноценным марксистом, то есть знатоком теории прибавочной стоимости и всех дебатов о ней за последние 150 лет. Корректней всего остановиться на понятии исторического материализма.

**Г.К., М.В.** В чем, по твоему мнению, преимущества и недостатки марксистского взгляда на историю?

**К.О.** Смотря что так называть. Ортодоксальный марксизм, который можно еще назвать ленинизмом-сталинизмом – это учение о железных законах истории, которые неизбежно приведут к победе индустриальный пролетариат и его авангард – партию. В таком виде это учение себя дискредитировало даже не с падением СССР, а уже с разоблачением Сталина на XX съезде и вторжением СССР в Венгрию, когда множество западных марксистов осознали страшный авторитарный облик сталинизма. Однако если проследить истоки учения о законах истории до работ самого Маркса и освободить его интеллектуальное зерно от наслоений партийного и сектантского догматизма, то мы увидим несколько иную конструкцию, о которой не нужно забывать. Маркс полемизировал с утопическими социалистами вроде Фурье и Оуэна, которые предлагали строить социальную утопию дисциплинарным путем: гармония наступит, если люди будут послушно следовать правилам, продиктованным вождем-утопистом. В таком утопизме потом упрекали и самого Маркса, а Достоевский приписывал его Чернышевскому,

<sup>3</sup> М. Гаспаров, *Лотман и марксизм*, в: Ю. Лотман, *Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера - история*, Москва 1996, с. 415–416.

<sup>4</sup> К. Гинзбург, *Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в.*, Москва 2000; Р. Дарнтон, *Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры*, Москва 2002.

<sup>5</sup> С. Gallagher, *The Potato in the Materialist Imagination*, in С. Gallagher - S. Greenblatt, *Practicing New Historicism*, Chicago 2000.

но логика у них обоих обратная. Маркс строит теорию о том, что капитализм по собственным экономическим законам порождает новый массовый класс — пролетариат, который в итоге внутренней логики капитализма станет столь многочисленным и организованным, что сможет взять власть, если будет бороться за нее. Перед нами диалектическая теория истории, которая выводит исторический слом не из харизмы вождя, но из социальной динамики экономики и населяющих ее масс. Маркс ошибся в прогнозах, но лучшего инструмента для анализа исторического процесса, чем диалектический материализм, у нас нет.

Есть и иное, еще более антисталинистское прочтение марксистской теории истории, которое восходит к другим сочинениям Маркса и в конце концов упирается в вопрос о крестьянстве. Это прочтение, взятое на вооружение ревизионистами и марксистскими гуманистами с 1960-х годов, отвергает идею о единой, заранее известной логике исторического процесса и управляющем ею партийном авангарде и сосредоточивается на сознании и практике угнетенных классов и их мятежей. Это направление мысли восходит к народнической науке, описанной в замечательной, незаслуженно забытой книге Эстер Кингстон-Манн *In Search of the True West* (1999), едва ли не лучшим обзоре русской политической мысли<sup>6</sup>, а внутри марксизма — к *Истории русской революции* Троцкого. Троцкий, конечно, не отвергал партийного учения об исторической диалектике и был одним из его авторов — но, полемизируя со сталинизмом, он подчеркивал самостоятельность масс и происходящих в их сознании процессов, которые в революционный момент оказываются неподотчетны никакой партии, в том числе большевикам. Направлению, заданному Троцким, следуют такие классические, но не переведенные на русский язык работы западной левой историографии, или 'истории снизу', как *Черные якобинцы: Туссен Лувертюр и революция на Сан-Доминго* Сирила Джеймса (1938), *Формирование английского*

*рабочего класса* Эдварда П. Томпсона (1963) и *Составные элементы крестьянского бунта в колониальной Индии* (1983) Ранаджита Гухи<sup>7</sup>. В историографии России это направление представлено работами Теодора Шанина, который доказывает, что в 1905–1907 годах и 1917–1922 годах в Российской империи произошли две крестьянские революции, стертые из исторической памяти после победы большевиков с их идеей о торжестве пролетариата и исторической отсталости крестьянства<sup>8</sup>. В вопросе об исторической роли крестьянства, которое составляло подавляющее большинство населения империи на 1918 год и было уничтожено в коллективизацию, либеральная российская наука, построенная на отвержении большевизма, оказывается намного ближе к взглядам большевиков, чем даже Троцкий, не говоря уже о таких марксистах-ревизионистах и неонародниках, как Шанин и Кингстон-Манн. Кингстон-Манн показывает, что взгляды Ленина на русское крестьянство в главных чертах совпадали со взглядами Столыпина и Витте, но игнорировали научные данные своего времени во имя кружково-партийного догматизма. Согласно Кингстон-Манн, сам Маркс не сделал этой ошибки. Написав *Kanumal*, он понял, что его теория пролетарской революции и соответствующая ей модель исторического процесса не приложима к крестьянской России; теоретического ответа на этот вызов он не нашел до конца жизни, но смотрел на него с открытыми глазами. Серьезная, концептуально проработанная и фактически выверенная критика большевизма и сталинизма немислима без левой антисталинистской историографии.

**Г.К., М.В.** Какие события и явления русской истории, с твоей точки зрения, наиболее важны и интересны для изучения, с учетом современного

<sup>6</sup> E. Kingston-Mann, *In Search of the True West: Culture, Economics, and Problems of Russian Development*, Princeton 1999.

<sup>7</sup> C. L. R. James, *The Black Jacobins: Toussaint L'Ouverture and the San Domingo Revolution*, New York 2023; E. P. Thompson, *The Making of the English Working Class*, New York 1966; R. Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, Durham 1999.

<sup>8</sup> Т. Шанин, *Революция как момент истины. Россия 1905–1907 гг. => 1917–1922*, Москва 1997.

политического контекста?

**К.О.** Российская гуманитарная наука страдает от фиксации на интеллигентах или аристократах, наших собственных предшественниках в прошлом. Если в XIX веке само понятие интеллигенции определялось в отношении к народу — долга перед ним, удаленности от него или попыток сближения с ним, — то современная историография культуры изучает интеллектуалов прошлого между собой. Главными героями в истории университетов оказываются не студенты и даже не профессора, но академические менеджеры, в том числе самый знаменитый из них — Сергей Уваров. Материалист бы сказал, что это прямая проекция той институциональной конструкции академии, которая в России до 2022 года была наилучшей из существующих и вызывала зависть: элитного столичного университета, играющего роль экспертного *think tank* в тени влиятельных и просвещенных чиновников. В таком университете преподаватели могли почувствовать себя участниками мировой науки и удалиться на несколько шагов от проблем действительно массового образования. Мы не сможем писать историю без вождей и интеллектуалов, но их истории нужно вернуть в общий контекст жизни масс, которые — странно об этом напоминать в 2025 году — и есть субъект истории. В данный момент в российской науке базовая матрица для рассмотрения массового существования — это государство и его подвиды: империя и нация. В каком-то смысле империя и нация противоположны, а в каком-то нет: и в том, и в другом случае коллективное существование управляется и оформляется действиями и идеями военно-административного аппарата и смежных с ним интеллектуалов. Нам нужно вернуться к понятию класса. Имеется в виду, конечно, не ригидная абстракция из советских учебников, несовместимая ни с какими нюансами — но тот гибкий инструмент для рефлексии о подвижном массовом сознании и солидарности, который в сочинениях Маркса открыли ревизионисты вроде Эдварда П. Томпсона и Гаятри Спивак в статье *Могут ли*

*угнетенные говорить?*<sup>9</sup>. Если крестьяне не были отсталой и темной массой, то кем они были? Какие идеи демократии и законности они противопоставляли основанному на вооруженной силе и бездумном монархизме помещичьему порядку? Что на самом деле думали башкиры, воевавшие с Пугачевым? Чем была Украина XIX века, кроме как окраиной, управлявшейся из Петербурга, и ресурсом для этноцентричного воображения интеллигентов? Как может литературоведческий и культурологический аппарат помочь восстановлению альтернативных, неосуществленных моделей общественного устройства, бытовавших в массовом воображении, но подавлявшихся имперским репрессивным аппаратом? Как будет выглядеть в этой перспективе «высокая» литература, служившая полем выработки разных форм национальной, имперской и протестной консолидации?

**Г.К., М.В.** В какой степени настоящее и связанные с ним политические вызовы воздействуют на наш выбор методологической парадигмы? В чем позитивный смысл презентизма?

**К.О.** Самый очевидный материалистический ответ состоит в том, что все мы живем в собственном времени, адресуемся к своим современникам и решаем современные задачи, карьерные и интеллектуальные. Вопрос в другом: обладаем ли мы интеллектуальным инструментарием для того, чтобы честно и ответственно отразить историческое место нашей деятельности — того, что мы пишем, и того, что мы преподаем. Русская филология в этом, как и во многих других отношениях, страшно отстает. То дисциплинарное обучение, которое я получил, включало мощнейшее отвержение связной профессиональной рефлексии. В этом контексте полезно обратиться к другим академическим дисциплинам, которые меньше филологии склонны превращаться в кружки, где своих узнают по недомолвкам, — например, к антропологии, где рефлексия о позициональности исследователя входит в базовую дисциплинарную грамотность. Однако и в филологии есть продуктивные при-

<sup>9</sup> Г. Спивак, *Могут ли угнетенные говорить?*, Москва 2023

меры. Я учился в семинаре Андрея Леонидовича Зорина, когда он выпускал книгу *Кормя двуглавого орла* (2000), одну из первых книг, прервавших молчание русской филологии после смерти Юрия Михайловича Лотмана в 1993 году. Эта книга была посвящена политической мысли русского двора XVIII–XIX веков, но открывалась семиотическим анализом августовского путча 1991 года. Примерно в то же время Андрей Леонидович выпустил книгу своих публицистических колонок *Где сидит фазан...* (2003). В этой книге есть эссе *Правда о зеленых Ло Тинах* (1998), рассуждающее о том, что задача критического интеллектуала — деконструировать исторические мифологии в прошлом и конструировать их для собственной нации в настоящем. Зорин остается для меня примером российского историка культуры, который никогда не скрывал политических измерений своего анализа, и поставленный им вопрос остается в силе: что и для кого мы (де)конструируем? Конечно, задачу русскоязычной гуманитарной науки нашего страшного времени я вижу не в выстраивании национальных мифов — с этим замечательно справляются наши оппоненты, — но в разработке языка демократической солидарности поверх этнических идентичностей и патриотизмов.

**Г.К., М.В.** Ты беседуешь с двумя итальянскими коллегами (один — по рождению, другой — по усыновлению): неудивительно, что нам сразу приходят на ум аналитические интуиции Антонио Грамши из его *Тюремных тетрадей* — о подлинной трагедии итальянской культуры, об интеллектуалах, которые начиная с Ренессанса формируют замкнутую, непроницаемую кастовую идентичность, все более анахроничную, словно джинны, запечатанные в бутылке... Все же если мы говорим о связи между историческим и культурным рядами, то нам следует думать и об интеллектуалах, то есть определить функцию интеллектуала в ту или иную эпоху, в условиях господствующих (или, напротив, антагонистических) интересов в конкретной социальной конфигурации. Как ты думаешь, может ли подобная критика быть применима и к русским интеллектуалам — до, во время и после советского

периода? И могло ли это способствовать возникновению авторитарных режимов, так же как это произошло в Италии с фашизмом?

**К.О.** Соглашусь с постановкой вопроса. Применительно к русской истории на него можно отвечать через историю понятия интеллигенции — о котором, кстати, российский филологический и исторический цех рефлектировал в 1990–х–2000–х годов, вспомним многочисленные интервью Михаила Леонидовича Гаспарова и специальный выпуск российско-итальянского альманаха “Россия/Russia”<sup>10</sup>. В XIX веке так именовался слой образованных плебеев — органических интеллектуалов? — видевших свой нравственный долг в служении ‘народу’, то есть крестьянскому большинству. В XX веке, с учреждением индустриального советского государства и уничтожением крестьянства, интеллигенция стала обозначением массового образованного слоя, утратившего функцию политического авангарда масс, которую взяла на себя партия. В позднесоветской ситуации, описанной в множестве работ, от Алексея Юрчака до недавней книги Павла Хазанова, образ противостоящей плебейскому государству интеллигенции наложился на ностальгический миф о ‘золотом веке’ дореволюционной аристократии, объединивший исследования Лотмана и фильмы Никиты Михалкова<sup>11</sup>. В постсоветской России, отбросившей нормативную идею социального государства, это привело к формированию закрытых столичных кружков, контролировавших газеты и университеты и, чуть ли не в первый раз за двести лет, не стеснявшихся своей демофобии. Политически нам, конечно, нужно новое народничество, и оно уже возникает в молодой активистской среде.

**Г.К., М.В.** Мог бы ты чуть подробнее рассказать о книге, которую ты, как мы знаем, только

<sup>10</sup> Б. Успенский (сост.), *Русская интеллигенция и западный интеллигентизм: история и типологи*, в: *Россия / Russia*, вып. 2 (10), Москва-Венеция 1999.

<sup>11</sup> А. Юрчак, *Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение*, Москва 2014; П. Хазанов, *Россия, которую мы потеряли: Досоветское прошлое и антисоветский курс*, Москва 2025.

что дописал — о Пугачевском бунте?

**К.О.** Это попытка исторической реабилитации ‘народа’ — негородского большинства Российской империи: крестьян, казаков, колонизованных народностей. О пугачевщине мы лучше всего помним формулу из *Капитанской дочки* Пушкина: не дай бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Эта чеканная формула — классический образец того, что историк Индии и основоположник *subaltern studies* Ранаджит Гуха именовал карательной риторикой (*the prose of counter-insurgency*). Имеется в виду оптика и набор объяснительных фигур, которые грамотные имперские элиты разрабатывают для дискредитации низовых движений как стихийных, лишенных политической программы и обреченных на поражение. Это, конечно, историографический фантазм — хотя и очень влиятельный. В книге я подробно разбираю серьезный корпус порожденных пугачевщиной манифестов и воззваний, в котором содержится вполне связная революционная программа, включающая отмену крепостного права, передачу земли крестьянам, учреждения местного выборного самоуправления и даже созыва учредительного собрания (слова там употребляются, конечно, другие). Особенно интересно было разобраться с устойчивым историографическим мифом о наивном монархизме: русские крестьяне, якобы, верили только в монарха-спасителя и поэтому не могли восстать без фигуры подложного Петра III. Эта много раз рассказанная история строится на очень избирательном чтении источников. Начнем с того, что все сохранившиеся фольклорные песни о Пугачеве именуют его собственным именем, точнее — его краткой украинской формой (Пугачев родился в донской украинской станице). В одном из песен Пугачев прямо говорит: “Я не царь и не царский сынок, / А родом — Емеля Пугач”. На самом деле в монархический принцип не критически верили верхи империи, а низы как раз стремились к своего рода республиканской монархии, подчиненной плебисцитарному консенсусу. В такой монархии не существовало бы сословного расслоения, то есть преимущественного

права дворян на землю и владение людьми. Требования социальной справедливости, которые не только выдвигала, но и на практике осуществляла пугачевщина, опережали современную ей Американскую революцию, которая как известно не отменила рабства, и приближались к крестьянским требованиям эпохи революций 1905-1907 и 1917-1921 годов. Иными словами, именно низы российской империи обладали политическим видением, обращенным в будущее, а верхи упрямо держались за сложившиеся в XVII веке структуры сословной монархии.

◇ *Marxism in Literary Studies: An Interview with Kirill Ospovat* ◇  
 Guido Carpi, Mikhail Velizhev, Kirill Ospovat

**Abstract**

The interview addresses the position of historical materialism within Russian literary scholarship in the past and in the current moment. While it was programmatically discarded after the fall of the Soviet Union together with other trappings of Soviet officialdom, a materialist understanding of literary criticism remained operative in historical, contextual studies of literature and political thought that remained mainstream. In the current moment, it is time to revive the political implications of historical materialism and Marxism in a democratic struggle against imperialism and authoritarianism, as well its theoretical frameworks which allow us to extend historical analysis far beyond simple contextualization of canonical works and authors.

**Keywords**

Marxism, Literary Studies, Post-Soviet Russia, *Intelligentsia*.

**Authors**

*Guido Carpi* holds the position of full professor in Russian Literature at the University of Naples L'Orientale. He is the author of numerous scholarly works, including the monograph *Dostoevskii as Economist* (2012, in Russian), a two-volume *History of Russian Literature* (2010, 2016, in Italian), a *History of Russian Marxism* (2016, in Russian), a *History of the Russian Revolution* (2017, in Italian), and a biographical study dedicated to Vladimir Lenin (2024, in Italian). He has also curated an anthology of writings by Maksim Shapir, addressing verse theory and literary theory, presented in Italian (2013).

*Mikhail Velizhev* (b. 1980) is a specialist in Russian and European intellectual history and in the history of Russian literature, Associate Professor of Russian Literature at the University of Salerno, Italy. He holds two doctoral degrees – from the State University of the Humanities (2004) and the University of Milan (2006). In 2007–2008 he was a Max Weber fellow at the European University Institute in Fiesole (EUI). Until 2022 he was Professor of Russian Literature and Culture at the Higher School of Economics University (Moscow, Russia). His research interests include the history of Russian literature and culture, Russian intellectual history, the history of political thought, the methodology of the human sciences, and microhistory. Velizhev is one of the editors of the “Intellectual History” series of the “Novoe literaturnoe obozrenie” publishing house, which also includes two special series devoted to microhistory and Italian studies. He has published several articles and books, in particular *Civilization, or War of the Worlds* (2019) and *Chaadaev's Affair: Ideology, Rhetoric and Power in Russia in the Epoch of Nicholas I* (2022).

*Kirill Ospovat* is associate professor of Russian at the University of Wisconsin–Madison. He is the author of two books on eighteenth-century Russian culture and literature: *Terror and Pity: Aleksandr Sumarokov and the Theater of Power in Elizabethan Russia* (Boston, 2016) and *Pridvornaia slovesnost': institut literatury i konstruktssii absolutizma v Rossii serediny XVIII veka* [Courtly Letters: Russian Literature and Visions of Absolutism in the Mid-Eighteenth Century, Moscow, 2020]. He is the co-editor, together with Ilya Kliger, Alexey Vdovin, and Margarita Vaisman, of the volume *Russkii realism XIX veka: Obshchestvo, znanie, povestvoovanie* [Nineteenth-Century Russian Realism: Society, Knowledge, Narrative, Moscow, 2020]. His book *Pugachevshchina: Politicheskaiia semiotika bunta v epokhu Prosviescheniia* [The Pugachev Revolt: Political Semiotics of Insurgency in the Age of Enlightenment] is currently in print. His interests concern the intersection of poetics, social epistemology and political radicalism in the early modern period and the nineteenth century.

**Publishing rights**

This work is licensed under **CC BY-SA 4.0**



© (2025) Guido Carpi, Mikhail Velizhev, Kirill Ospovat